

НЕ УЕЗЖАЙ, ДОЧКА

Вялый, как прошлогодняя картофелина, дядя Ваня сидел у гроба и силился осознать свое горе. Осознания не получалось. Лицо жены казалось чужим: сошли с него привычные строгость и недовольство, морщины разгладились, губы тронула безмятежная улыбка, словно покойница уже видела то Царствие Небесное, которого ей сейчас все желали, и радовалась ему.

В полумраке нудно бормотал поп, выли бабы — оплакивали Варвару. Мужики покашливали в кулаки, глухо переговаривались, сочувственно посматривая на вдовца.

«Ку-ку!» — выскочила из старых ходиков облупленная кукушка, отмечая очередные полчаса. Дядя Ваня вскинулся осовело, горестно вздохнул и снова поник на лавке, ссутулившись, зажав коленями клешнястые кисти рук. От выпитой с утра за упокой души самогонки, от сладкой ладанной духоты и монотонного гула голосов явь и сон смешались в нем...

Нет, не его это баба померла... Его-то лихая была — ух! Ураганом носилась, шумела, ругалась: «Шоб ты сдох с той водки, барбос!», а сама вот... сама первая... И все-таки это его Варька. Она точно такой, помнится, была — спокойной, ласковой — когда замуж выходила. Черт знает, как давно это было... Годов, поди-ка, сорок прошло... Аль поболее уже? Дядя Ваня прикидывает в уме, сколько они с женой вместе прожили, но сознание его уплывает, голова клонится, он задремывает и видит во сне юную Вареньку в красном платье, с розовым бантом в косе.

Отрез алого ситца и ленту шелковую он Варе подарил, когда свататься пришел. Перед первым боем так не волновалась, как в тот день. Ей только-только восемнадцать набежало, а Ивану уже двадцать четыре стукнуло. Он с войны готовым мужиком вернулся. Боялся — не пойдет за него девочка нецелованная. Но Варвара не то что пошла — побежала, вприпрыжку поскакала! Такого жениха, как Иван Иванов, в ту пору не сыскать было ни у них в деревне, ни в селе, ни даже и в городе не нашлось бы! Он еще до войны на всю округу сапожным мастерством прославился — с раннего детства дед учил его обувь чинить. А как возвратился Ваня с фронта, от заказчиков отбоя не стало. Ну и от невест, ясно дело, тоже. Он выбрал самую красивую — Вареньку Лапину.

Летом сорок пятого во дворе вот этого самого дома свадьбу отгуляли.

В первую брачную ночь, как увидела молодая мужнин живот, — в рев ударились. Иван ей тогда доходчиво объяснил: не плакать надо, а Бога благодарить, что осколок на излете кишки разворотил, потому изувечил, но не убил. А шрамы снару-

жи — пузо рубцами так перекручено, что пупок набок сполз — рубахой прикрыл, и порядок... Сорок восемь лет с той поры минуло. Вот же как времечко летит!..

Соседки собирали поминки под руководством бабки Анны, такой же хлопотливой и громкоголосой, как ее задушевная подруга Варвара. Закуску сообразили из хозяйских запасов, бражку и самогон свои принесли — уж чего-чего, а этого добра в любой избе, вне зависимости от времени года и политической обстановки, полный достаток.

Женщины жалостливо поглядывали на задремавшего дядю Ваню, хотя еще три дня назад, наоборот, костерили его, как могли. Мол, живет мужик, словно под водой сидит, ничего до него не доходит. Пенсию, не только свою, но и женину, как та ни спрячет, найдет и на выпивку спустит. Но главное — бездельник, ремесло свое, руки золотые давно пропил. Вон как пальцы дрожат — только в бубен играть... Нинка не просто так из родительского дома сбежала. А ведь единственная дочка, поздний ребенок...

Варвара долго не могла дитя выносить. Дояркой на колхозной ферме она от зари до зари и навоз убирала, и бидоны с молоком таскала. Неудивительно, что раз за разом скидывала. Уже хорошо за тридцатник ей перевалило, когда родила девочку, недоношенную, но здоровенькую.

Чтобы доченьку долгожданную без присмотра не оставлять, Варя с фермы ушла, устроилась в сельскую школу уборщицей. Каждое утро с ребенком на автобус — и в село, вечером обратно в деревню. А дома их распьяным-пьянуший папаша встречает. Скандал, конечно, ругань, а то и драка. Нет-нет, Иван на жену не то что руки, даже голоса не поднимал. Это Варвара его то ухватом, то сковородником от алкоголизма лечила. Материла, выгоняла, а потом обратно принимала, говорила: когда муж трезвый, он золото, а не муж. Вот только трезвым дядя Ваня год от году бывал все реже и реже...

Насмотрелась Нинка на такую семейную жизнь и сразу после школы беспечно перелетной птицей улетела. Месяца через три от нее из города письмо пришло. Дескать, устроилась хорошо, работа нравится, денег хватает.

Дядя Ваня на то письмо никак не отозвался. Буркнул что-то про нынешнюю молодежь, у которой совести не хватает помочь старикам, и словно забыл о дочери. Он уже тогда жил, будто в воду опущенный. Медленно ходил, медленно говорил и все норовил «на дно лечь» — выпить, уснуть и не видеть ничего, не слышать. Ни жалоб жены, ни упреков соседей, ни последних новостей о какой-то там перестройке, из-за которой в деревне вначале колхоз ликвидировали, а после закрыли медпункт, почту и магазин.

Зато тетка Варя Нинкиной весточке сильно обрадовалась, нахвастала соседкам, какая у нее разумная дочка выросла, да вот только на ответ так и не сподобилась. Каждый божий день крутилась Варвара как заводная: дом, огород, скотина, работа — она ведь до последнего дня своей жизни в село ездила школьные полы шоркать.

Дядя Ваня с молодых лет ни до скотины, ни до земли не касался. Ему, знаменитому мастеру, зазорно было в хлеву да на грядках горбатиться. И жена его в том поддерживала. «У тебя, — говорила, — есть свое дело, вот его и делай, нечего раненый пупок напрягать». Он и не напрягал. Сидел сутками на «липке» — специальном чурбачке башмачников, дедовом наследстве, и с ювелирным тщанием туфли подбивал, валенки подшивал, даже сапоги, случалось, на заказ шил. Было такое время, было: обновки купить негде и не на что, а тут свой мастер, да какой! Почитай, вся деревня не раз и не два через его избу прошла со своей обувкой — Иван ее так возрождал, что от родителей к детям переходила.

Только верно народ подметил: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Трудодни, что деревенские в колхозе зарабатывали, в оплату не понесешь, вот и норовили заказчики натурой рассчитаться. Чужие яйца-молоко-картошка Ивановым были ни к чему, своих хватало, а вот «жидкий рубль» — самогон — это, на худой конец, экономия сахара. Так и потонул в том самогоне мастер Ванечка-Золотые Руки, остался Ванька — ирод, изверг и барбос...

Самое большее, что дядя Ваня в последние годы по хозяйству делал: отрывал очередной листок календаря да заводил старые ходики, подтягивая гирьку на цепочке. Часы эти — домик с кукушкой — Варваре мать в приданое дала вместе с пуховой периной, коровой и образом Богородицы Утоли Моя Печали. За той иконой хранила тетка Варя ценные «бамаги» — документы на дом, фронтовые треугольники пропавшего без вести брата Федора и единственное письмо от дочки.

Издредка по вечерам доставала Варвара заветный конверт, на картинке — птичка серенькая в крапинку, очень похожая на ту, что из фамильных ходиков выскакивает, перечитывала скупые строчки, плакала и не находила слов для ответа. О чем писать? Все вокруг то же самое, от чего Нина убежала. Нечем похвалиться, нечем доченьку порадовать... Так и пролетели незаметно годы.

То письмо, все теткой Варей зареванное, соседки нашли. Буквы расплылись, но обратный адрес на конверте был виден, на него и отправили скорбную телеграмму. Только на другой день она назад вернулась: выбыл адресат. Дяде Ване ничего не сказали, да он и не вспоминал о дочери. Напивался, засыпал, просыпался, снова напивался, и так все три дня, что новопреставленную по русскому обычаю готовили в последний путь.

Его растолкали перед выносом: подойди, попрощайся с женой. Дядя Ваня хлопал сонными глазами, вздохнул и погладил покойницу по плечу. Целовать в лоб, как бабы настаивали, не захотел. Не оставляла его какая-то смутная надежда, что умерла чужая женщина, а Варька сейчас влетит в избу, грохнет подоинок в угол и привычно заорет: «Обрадовался, ирод! Повод ему объявился! Теперь год за упокой души водку трескать будет!»

При мысли о выпивке дядя Ваня забеспокоился, еще раз вздохнул, пробормотал: «Вот ведь как... Что ж теперь-то...» и двинулся в кухню, где мужики втихаря уже прикладывались к поминальному угощению.

На кладбище, первым бросая на гроб горсть земли, основательно захмелевший, вдовец сам едва не скатился в могилу.

За столом дядя Ваня угрюмо молчал и почти ничего не ел. Неясная тоска грызла ему душу, мозг вяло перебирал недоутопленные в самогоне мысли. Всплыл вдруг образ дочери — худенькой, длинноногой девочки, очень похожей на молодую Варю. «Надо бы написать Нинке, что мать нас оставила, — подумал он. — Где-то был адрес...» Поднялся, качнулся, упал обратно на лавку и забыл, зачем вставал...

На другой день дядя Ваня проснулся с привычным чувством тяжелого похмелья и не сразу сообразил, почему в избе тишина. Никто не звенит посудой, не хлопает дверью, не кричит: «Изверг, чтоб тебе провалиться!»

«Все, нет Варьки. Оставила меня, — вспомнил дядя Ваня. — Чего это ей вздумалось помереть? И не болела никогда. На ноги только жаловалась, но ведь бегала же...»

Умерла Варвара, и правда, почти на бегу: вернулась с работы, корову подоила, домашние дела переделала, попутно браня хмельного дядю Ваню, в баньке сполоснулась, легла спать и больше не проснулась. Нехорошо получилось, неожиданно, а потому особенно обидно.

Один дядя Ваня остался. Некому теперь его ругать, но и стопарик на опохмелку подать, картошечек на закуску сварить тоже некому. Безмолвие угнетало хуже скандала. Замерла жизнь в доме, словно и дом умер вместе с хозяйкой. Тишина. Лишь часы в кухне: «Тик-так, тик-так...»

«Все не так, все не так...» — чудится дяде Ване в этом звуке. Нарочно громко звякнув ковшиком, он зачерпнул воды из кадлушки, выпил, обливаясь и хлюпая. Смертельно хотелось опохмелиться, но прибранный соседками стол, вчера уставленный выпивкой и закуской, сегодня угнетал пустотой.

«Что же дальше-то?» — старик растерянно огляделся. В деревне каждый к своей семье как пуговка к одежке пришит, а он вот один остался — никто не обругает, никто и не пожалеет. Варька хоть и была безмерно скандальна, но сама любила иной раз к бутылочке приложиться. Всегда у нее имелась секретная заначка...

Дядя Ваня прошелся по избе, заглядывая в шкафчики и тайники, пошарил по полкам. Нашел давным-давно убранную в дальний угол чулана «липку». В том сапожном чурбачке, в середине отверстие выдолблено, чтобы инструменты складывать, а дядя Ваня в нем неприкосновенный запас держал. Только и «липка» оказалась пуста. Все выпито.

Все сказано, все сделано.

«Куда я теперь? Зачем я теперь?» — сел дядя Ваня на лавку и заплакал, тоненько подвивая и раскачиваясь из стороны в сторону.

Опять со скрежетом высунулась из своего окошка кукушка, кукукнула один раз — половина, значит. Какого? Старик проморгался, глянул на циферблат — шестого. Утра? Нет, пожалуй, все-таки вечера. Отер ладонью мокрое лицо, еще чуток посидел бездумно и вышел во двор. Медленно добрел до огорода, обошел гряды, засеянные неутомимой Варварой. Свекла, репа, редька... Потянул какой-то зеленый хвост, выдернул большую крепкую морковь и зачем-то положил ее в карман. Снял с плетня пестрый половик, понес домой...

В избе уже бодро хозяйничала бабка Анна: растопила печь, сунула туда чугунок с картошкой.

Привычный образ суевающейся по дому женщины немного утешил вдовца. А бабка воспользовалась трезвым состоянием соседа и завела деловой разговор. Через неотвязную мысль о выпивке до дяди Вани дошло, что Варварину корову продали удачно — тот поп, что покойницу отпевал, он и забрал Зорьку. Вырученные деньги, чтобы дядя Ваня их не растряс, бабка Анна у себя придержала до приезда Нины. А пока та не нашлась, она, Анна, будет за домом присматривать: прибираться и готовить два раза в неделю.

— А ты, Иван, ежели не желаешь в долгу оставаться, вспомнил бы свое ремесло, да и починил мне кой-чего из обувки, — уравнила бабка соседские отношения.

Но дядя Ваня на это деловое предложение никак не отозвался.

«Вот привязалась, чесотка», — думал он, прикидывая, как бы вытряхнуть из зловредной старухи свое законное:

— Ты... эт... деньги отдай. Сам сохранию.

— Шиш тебе, — помахала бабка дряблым кукишем. — Я тебя знаю, пропьешь и не поморщишься!

От острого желания опохмелиться и полной невозможности это сделать дядя Ваня внезапно озверел:

— Дура старая! Воспиталка, тоже мне! Иди, свово мужика понужай, а я и сам с усам! Без тебя все сделаю, не безрукой! А ты чтобы тута мне не шоркалась!

— Да пропади ты пропадом, изверг! Не ради тебя, ради Варьки-великомученицы старалась!

Плюнула под ноги, вылетела вон, дверью — бах! — аж покатилося в сених. Деньги отдать и не подумала. Дядя Ваня постоял угрюмо посреди кухни и влез на печь.

«Эх, Варька, Варька! Что ж ты наделала? Оно, конечно, непросто тебе жилось. Муж — инвалид, в боях за Родину изувеченный. Воды принести, дров нарубить, землю вскопать — все вполсилы, другая половина — твоя. Только ведь он тоже старался, как мог. Иной раз сутками с «липки» не вставал. Клеем да ваксой так надышится — в голове туман, на ходу качает. Для очищения организма, бывало, примет чуток, а ты сразу в ругань, а то и в драку! Разве он когда-нибудь тем же ответил? Да он за всю жизнь тебе ни разу даже пальцем не погрозил! А ты вот взяла, да и ушла, не попросившись... Теперь чужие бабы должны твою печку топить и твоего мужика утешать. Это как же так? А? Это где же справедливость?»

Черная тоска злобно корчилась внутри, грызла душу голодной псиной. Требовалось немедля задушить ее беспамятством. Только где бутылку взять? Купить в селе? Денег нет. Какие были копеечные сбережения, и те на похороны ушли, а до пенсии еще дней десять. По соседям самогонкой побираться? Он и так задолжал добрым людям за поминки...

Куда ни кинь — кругом клин. Варька умерла, корову продали, даже кошка убежала, в дом не заходит... Дочка, однако, еще есть... В городе живет... Написала, хорошо живет, богато. Молодые, они все такие: когда жизнь ладится, то и мамка с папкой не нужны. Маленькая была, хвостиком за отцом ходила, с рук не слезала... А уж Ваня как свою любимицу баловал! В город за материалом поедет — обратно непременно подарки везет. Жене — тряпочку какую-нибудь, платочек там или передничек, а Нинке — игрушку. Раз цыпленка заводного купил. Она, глупенькая, как завод закончился, испугалась, заплакала. Думала: умер цыпленок... Подросла — любила за отцовскими руками наблюдать. Смотрела, вытаращив восторженные глазенки, как ловко они работают. В сочинении написала: «Хочу стать сапожником, как папа». Не застыдилась, насмешек не побоялась... А когда повзрослела, чего-то вдруг загордилась, махнула в город, «глаза б мои на тебя не смотрели» — попрощалась. И вот уж сколько лет молчит. Даже мать хоронить не приехала... Так ведь, может, не знает... Откуда ей знать? Чужим людям дела нет, а родной отец и не вспомнил. Но его понять можно: жена умерла — такое горе, всякий голову потеряет. С горя и не вспомнил. А теперь отошел малехонько, теперь напишет. Девятый день еще впереди. Вот на поминки и приедет дочка. Родная, единственная...

Нет, дядя Ваня не пуговица, от одежды оторванная! Это еще как посмотреть, кто кому больше нужен окажется — Нинка ему или он ей... Тут всякие соображения могут возникнуть... Деревенские судачат: богатеи в деревнях дома под дачи скупают. Какие-то «котежи» из них ладят. А Нинке и тратиться не надо — у нее уже есть собственный дом, и родной отец при нем. Чем плохо вместе жить, друг другу подсоблять?..

Так думал дядя Ваня, начисто забыв о минувших годах, о том, что Нина уже взрослая женщина и у нее, возможно, есть семья. Чудилось ему, будто бы гордая дочка уехала всего-то с неделю назад и ждет лишь отцовского зова, чтобы вернуться...

В избе по-прежнему пугающе тихо. Лишь охрипшая кукушка каждые полчаса, старчески скрипя, высовывается из домика и сообщает, что время идет.

Идет время-то...

Дядя Ваня задом сполз со своей лежанки, зажег свет. Отыскал за Богородичным образом конверт с адресом дочери; из вазы с пыльным ковылем достал ручку,

тетрадь в клеточку, куда Варвара записывала, кому сколько молока продала, и сел писать.

«Здравствуй, дорогая моя дочь Нина! С приветом к тебе, твой родной отец Иван...» Пальцы дрожат, буквы в разные стороны кривыми корягами клонятся; мысли разлетаются вспугнутым вороньем, никак дяде Ване не удастся собрать их в кучу. А думает он, что больше «эту отраву» в рот не возьмет, завтра же займется хозяйством и сделает все так, что придет Нина и уезжать не захочет!

«...и кто хочешь тебе скажет, что я не пью, а чиню обувь опять лучше всех... Приезжай, дочка!» — заканчивает дядя Ваня, искренне веря, что к тому времени, как письмо придет к дочери, все написанное уже будет правдой.

Чистый конверт нашелся в том же тайнике за иконой — серый, без марки, в них почтальонка приносила старикам пенсию. Дядя Ваня повозил по клапану сухим шершавым языком, сплюнул, заклеил письмо, старательно переписал адрес и по темной пустой улице побрел в конец деревни, где на первом от дороги доме висел темно-синий почтовый ящик.

Нина приехала через неделю по телеграмме своей одноклассницы Надежды, отыскавшей ее с помощью мужа-милиционера.

На станции Надя с трудом узнала школьную подругу в ярко одетой, модно причесанной женщине. Пока автобус ждали, пока до села ехали, было время поговорить.

После бегства из деревни Нина удачно устроилась официанткой в вагон-ресторан. Всю страну объездила, но времени зря не теряла: заочно окончила торговый техникум и поднялась до директора. Работа на колесах доходная — кооперативную квартиру отстроила, на море побывала. Вот только личная жизнь не сложилась. Второй раз замужем, а ребеночка выносить так и не смогла. Наверное, наследственное это, от матери...

Родителям Нина писала, ответа не получила и решила, что не очень-то им нужна. Как и они ей, с их бесконечными пьяными скандалами. Нет, она о стариках своих помнила. В школу несколько раз звонила, справлялась о матери. Ей отвечали, что Варвара Никитична Иванова по-прежнему трудится уборщицей, и Нина успокаивалась: это нормально, когда у родителей своя жизнь, а у детей — своя. Это нормально.

Возвращаясь в деревню Нина не собиралась ни за какие коврижки. Так что дом придется продать — как раз на машину хватит. А вот с отцом что делать? К себе забрать? Вряд ли муж обрадуется такому ее приданому...

Надежда поохала, посочувствовала, но мало что смогла рассказать Нине о ее родных, поскольку жила в селе, за двадцать километров от деревни. По слухам, не от болезни тетка Варя умерла, просто устала, вот и ушла в одночасье на тот свет. А дядя Ваня, овдовев, вроде как заблажил. То ли за ум взялся, то ли, наоборот, умом тронулся, но с похорон не пьет и с собутыльниками не общается. Стучит чего-то во дворе, забор починил и сапоги бабке Анне — ту едва родимчик не хватил. А вечерами трезвый дядя Ваня подолгу сидит на завалинке и задумчиво смотрит вдоль улицы, словно ждет кого-то...

Погостить у подруги денек-другой Нина отказалась, наняла в селе легковушку и заспешила в родную деревню.

...Дядя Ваня с восхищением смотрел на дородную, богато одетую красавицу. Вот это женщина! Жар-птица сказочная, а не женщина! И не чужая залетная, а своя — дочка родная. Только отец ее позвал — она сразу же и приехала. Уважа-а-а-ет!

Сколько всяких невиданных закусок привезла: колбаса какая-то особо за-пашистая, рыбка — и соленая, и консервой в банке! Бутылочки тоже — тут и коньяк, и вино, и беленькая, самая что ни на есть превосходная, с винтовой пробкой... Вот ведь искушение! Но дядя Ваня ни-ни! Держится, и будет держаться как воин в обороне, потому что очень важно ему перед такой дочкой лицом в грязь не ударить.

А Нина ходит по избе в туфельках, каблучками постукивает — старые материны чуни надеть отказалась. «Некрасиво, — говорит, — неудобно перед гостями». Дядя Ваня только фыркнул на это: «Гости, тоже мне, лапти деревенские! Обрадовались богатому застолью!» Один за другим заходят: «Здрасьте, Нина Ивановна, надолго ли к нам?» Вот так вот: Ивановна! Это вам не хрен собачий! Кровинка единственная — Нина! Ивановна!

Бабка Анна тут как тут:

— Нашлась, пропажа? Жалко, не застала мать-то. Надолго приехала? Может, останешься? Отцу ведь никак нельзя одному жить, сопьется насмерть.

«Зачем же одному? — думает дядя Ваня. — Будем жить вдвоем. Отец и дочь — одна кровь, одна семья...»

На скрежет дверцы в старых часах и хриплый выкрик кукушки Нина едва не расплакалась:

— Ой, мамино приданое цело! Пап, помнишь, как я в детстве верила, что кукушка живая, и хотела ее на волю выпустить?

— Как же, доча, как же! Ты эту птицу тогда сломала. Мать тебя выпороть хотела, только я не дал. Починил, по сию пору кукует.

— Да, папа. Ты у нас раньше молодцом был, любое дело в твоих руках горело, а сейчас еле ходишь, трясешься весь. Что ж ты так себя довел?!

— Это ничего, ничего... я еще могу, еще могу... если надо...

— Да что ты можешь?! Не знаю, что и делать с тобой! И оставить нельзя, и к себе забрать — муж навряд ли согласится. Горе ты мое!

Дядя Ваня слушал голос Нины, удивительно похожий на материнский, и чудилось ему, будто ничего не изменилось. Вот сейчас он приляжет отдохнуть, а дочь будет жалеть его и ругать, как жалела и ругала жена. Будет прибираться в избе, копать в огороде, греметь чугунками и подойником... Словом, покатится дальше жизнь прежняя, привычная, какая при живой Варваре была...

Лишь одна мысль-заноза не давала дяде Ване ощутить во всей полноте грядущее счастье: а вдруг дочка уедет? Время, проведенное в тишине пустого дома, казалось ему несправедливым и очень обидным наказанием. Он мучительно размышлял, как удержать Нину в деревне. Какой бы такой хитрый ход придумать, чтобы она поверила, что у нее хороший, заботливый отец, и осталась с ним?

Непривычный к напряжению мозг быстро утомился. Не дожидаясь, пока разойдутся гости, разомлевший дядя Ваня забрался на печь и заснул под ровный гул голосов.

Разбудил его громкий, такой родной Варин голос. Спросенок он не сразу сообразил, что кричит не жена, дочь: «Па-а-ап, ты там спишь, что ли? Надо бы поговорить насчет наследства. Слышь? В город со мной поедешь?»

В смысл слов дядя Ваня не вник, не отозвался, только улыбнулся в ответ, не открывая глаз. Нина минуту помолчала, вздохнула и погасила свет. В темноте скрипнула кровать, и вскоре мощный храп заглушил и тиканье часов, и мерные выкрики ветхой кукушки.

Слушая в темноте ночные звуки, дядя Ваня вертелся изнеможенно с боку на бок в душевной и физической маяте. Борьба с подлой утробой, требующей привычной

дозы, совсем измучила его. От полной капитуляции перед многолетней привычкой старика удерживал лишь страх снова оказаться в безмолвии одиночества. Но после полуночи сдал и этот неверный тормоз.

«Чуть-чуть, совсем капельку, к утру развеется — никто и не узнает», — сам себя убеждал дядя Ваня, тихо сползая с лежанки.

Нет-нет, он не станет будить дочку, упаси господи!.. Только капнет себе в стаканчик... Где-то в буфете стоит та самая с винтом, ее не доставали, он видел...

Трах! Старик упал на четвереньки, споткнувшись о туфли дочери. Стоя на карачках, он испуганно замер. Храп прервался, Нина чмокнула, перевернулась на бок, и стало тихо, задышала спокойно.

Дядя Ваня сел на пол, взял туфли в руки, погладил... Странная какая обувка: каблук ровный, набойки целы и подошва не стерлась, а по носу, словно ножом кто натывал — дырки. Черт знает, кто в городе такие баретки делает?!

Старик медленно поднялся с пола и с туфлями в руках тихо вышел из комнаты. В кухне он зажег свет и внимательно рассмотрел дочкину обувь. Так и есть: где больше дырка, где меньше — по всему носку на обоих башмаках. И пыль тебе туда, и вода... А Нинка тоже, нет чтобы попросить: «Почини, папа, ты лучше всех можешь это сделать». Не-е-ет, она гордая, вишь ли! Но на то и есть у нее отец родной, чтобы не ждать, когда попросят, а проявить заботу без всяких напоминаний.

Обрадованный возможностью осчастливить дочь, дядя Ваня тихонько прокрался обратно в комнату, достал из буфета бутылку «с винтом» и унес в кухню, тщательно притворив за собой дверь. Затем принес из чулана и аккуратно разложил на лавке шило, дратву, клей, кусочки кожи, рядом поставил «липку».

Глядя, как маслянисто течет в стакан беленькая, дядя Ваня с дрожью в сердце заставил себя остановиться, не долив до половины. «Чуть-чуть! — шептал он, сдерживая волнение. — Только для крепости руки и верности глаза. К утру никаких следов...»

Пил он медленно, мелкими глотками, прислушиваясь, как теплая нега стекает в живот и разбегается по жилам бодрыми таракашками. Выпив, крякнул сладострастно, отставил подальше сорокаградусную искусительницу, даже полотенцем ее прикрыл и уселся на чурбачок. Постелив на колено дерюжный лоскут, дядя Ваня приступил к привычному делу...

Солнце медленно поднялось из-за леса над омытой осенними ливнями деревней. Первые лучи его пробрались сквозь запыленное окно и осветили круглый обеденный стол, покрытый пестрой клеенкой. В центре стола ровным рядком, словно солдаты в строю, стояли: пустая бутылка из-под «Немировки», граненый стаканчик и дорогие итальянские босоножки Нины с аккуратными заплатами поверх дырочек затейливого узора.

Оставив блики на сверкающих гуталином латках, солнечные ручейки стекли на пол, где среди разбросанных инструментов и обрезков кожи, блаженно улыбаясь, спал дядя Ваня. Во сне он видел благодарное лицо дочери. «Какой же ты молодец, папка, без тебя пришлось бы на новые потратиться!» — говорила Нина, надевая мастерски отремонтированные туфли. «Так ведь и я без тебя будто пуговка без одежды! А ты дома, и я вроде как к месту пришит, — отвечал ей растроганный дядя Ваня. — Не уезжай, дочка, не уезжай!»

На стене тихо икнули ходики, скрипнув, распахнулась дверца, из нее выскочила серая в крапинку птичка, прокуковала пять раз и замерла, словно задумалась, что же ей теперь дальше-то делать...

НАТЮРМОРТ В ЗЕЛЕНЫХ ТОНАХ

Ковыряя в скважине ржавым ключом, Изабелла Бувеч шептала неприличные слова и пинала дверь мастерской. Старый замок не поддавался.

— Давайте, я попробую, — прозвучал за ее спиной низкий голос.

Изабелла обернулась и окинула незнакомого мужчину профессиональным взглядом художника. Высокий, худощавый, загорелое лицо как будто высечено из темного дерева... нет, не грубым топором, а тонким острым клинком: два взмаха — острые скулы, еще два — длинный, узкий нос; раз — высокий лоб, еще раз — подбородок... Вот тут рука Творца дрогнула, и вместо более подходящей волевым чертам резкой, твердой линии получилась вялая, скошенная — так и тянуло взять карандаш, поправить очертание... Красавец? Ни с какой стороны. И совершенно не в ее вкусе. Отчего же из глубины души вдруг поднялось смутное волнение? Внутренне изумившись самой себе — давно не приходилось испытывать подобных чувств — Изабелла протянула ключ:

— Пробуйте.

Пусть не с первой попытки, но мужчина победил.

— Поменяйте замок, — посоветовал он.

— Надо бы, — согласилась она. — Только некому.

— Я новый комендант Дома творчества. Менять замки входит в мои обязанности.

— Преогромное вам спасибо!

— Пока не за что. Разрешите представиться — Геннадий Васильевич Горин. Можно просто Гена.

— Изабелла Львовна Бувеч. Белла.

— Знаю. Вас весь город знает. Вы знаменитость.

— Не преувеличивайте, не так много людей интересуется живописью...

Слова порхали в пространстве и вроде бы что-то означали, только совсем не то, о чем говорили взгляды. Глаза женские — черные, огневые — и мужские — серые, с ироничной искрой в глубине зрачка — вели свою тайную безмолвную беседу...

— Входите, — пригласила она. — Осторожно, я сюда мольберт переставила. Надо к дивану стол подвинуть, у меня сегодня вечеринка. Поможете?

— С радостью!

Они двигали стол, стулья, переставляли картины...

Ей было приятно заниматься с ним простыми бытовыми делами, попутно рассказывая о своей работе. Он слушал внимательно. О себе говорил скупой, неохотно: офицер запаса, приехал с Севера, со дня на день должен получить жилье...

— Спасибо вам, — благодарно улыбнулась Изабелла, когда с перестановкой было покончено. — Приходите к семи. Я познакомлю вас с коллегами.

Он серьезно посмотрел ей в глаза.

— По какому поводу общий сбор? День рождения?

— Нет, я родилась зимой. Послезавтра художники разъезжаются на летний пленэр. Каждый год мы по очереди устраиваем отвалыные посиделки. В этот раз за прощальную гастроль отвечаю я. Вон там, в кастрюле — окрошка, в коробке — нарезка и пирожки...

Разумеется, все заметили восхищенные взгляды Горина.

На экстравагантную красавицу Изабеллу Бувеч многие мужчины так смотрели. Вот только понравиться ей было сложно, а удержать навсегда вообще невозможно.

Первый муж Изабеллы, физик-ядерщик, проиграл поединок с искусством. Он хотел детей, любил вкусно поесть и ненавидел пленэр. Поставленная перед выбором: «или я, или твоя работа», Изабелла послала супруга куда подальше.

Второй — скульптор — не пережил перестройки. Когда стране оказались не нужны памятники героям, он перешел на надгробные. Творчества стало меньше, зато денег — больше. Тоску по чистому искусству скульптор глушил водкой, что не помешало ему открыть частную ритуальную контору. Убили его заезжие акулы бизнеса в ходе рейдерской войны.

Изабелла установила на могилке мужа одно из его творений и съехала с мамой, к тому времени тоже овдовевшей. Дети они со скульптором не обзавелись по обоюдному согласию.

...Вечеринка закончилась около полуночи. Геннадий вызвался помочь убрать мебель на место.

После первого поцелуя остатки благоразумия покинули смятенную головушку Изабеллы...

Прощаясь, Горин долго держал ее в объятиях, прижимался щекой к макушке и молчал. Изабелле нравилось это молчание. Никаких глупых комплиментов, объяснений, обещаний и прочей слащавой лабуды.

— Я сегодня опять приду, можно? — прошептал он Изабелле в ухо.

— Сегодня я ночью дома с мамой.

— А завтра?

— А завтра утром я уеду.

«Если попросит сейчас остаться, брошу его», — подумала Изабелла, но он не попросил.

— Я тебя провожу. И встречу. Здесь, у этой двери.

— Я не знаю точной даты...

— Буду ждать каждый день.

Она отстранилась, пристально посмотрела ему в глаза и поверила: будет ждать.

Изабелла прошла вглубь мастерской, достала с полки небольшой натюрморт: на зеленом фоне кривобокая бутылка темного стекла, пара рюмок и лимон.

— Вот, посмотри, нравится?

— Спрашиваешь! Конечно! — пылко согласился Горин.

— Тебе. Подарок. На память.

— Спасибо, Белла. Какая странная бутылка.

— Фирменная. Французский арманьяк.

— А рюмки водочные...

— Это ерунда. В живописи своя логика: главное цвет и свет, остальное неважно...

На следующий день Геннадий помогал художникам грузиться в автобус.

В последнюю минуту он отвел Изабеллу в сторону, достал из кармана золотое колечко с бриллиантовым глазком.

— Тебе. На память.

— С ума сошел?! Я не ношу колец, особенно таких... — хотела сказать «безвкусных», но сдержалась.

— Да, я сумасшедший, и это ты свела меня с ума. Возьми, прошу.

— Но... — Изабелла вдруг ощутила себя героиней дешевого сериала, однако сопротивляться погружению в пошлый сценарий времени не было. И вообще... Человек, как умеет, старается выразить чувства, зачем его обижать...

Она растерянно оглянулась. Из автобуса ей махали и что-то кричали коллеги.

— Хорошо. Спасибо. Я пошла.

Через месяц Изабелла вернулась переполненная впечатлениями и жаждой новых свиданий.

Оставив холсты, этюдник и рюкзак с вещами на улице у входа в Дом творчества, она вбежала на второй этаж.

Геннадия не было ни у двери ее мастерской, запертой на новый замок, ни в служебном кабинете.

— Вы кто? — изумилась Изабелла, обнаружив на месте Горина незнакомую тетку.

— Я ваш новый комендант.

— А старый где?

— Уволился.

— Как уволился? А ключи... ключи для Бувеч он не оставлял?

— Какие ключи? Мне ничего не оставлял.

— Что же делать? Только что приехала с пленэра и не могу попасть в мастерскую.

— Не знаю, чем вам помочь. Может, вы к нему домой за ключами сходите? Он тут недалеко квартиру получил. Могу адрес дать. Вещи ваши можно пока сюда занести...

Немного поплутав среди новостроек, Изабелла нашла нужный дом и поднялась на третий этаж. Едва звякнул звонок, дверь распахнулась. На пороге стояла низенькая полная женщина в домашнем халате с поварешкой в руке.

— Ой, я думала, муж пришел.

Изабелла смутилась.

— Здравствуйте. Извините. Мне нужен Геннадий Васильевич.

— Здравствуйте. Гена вот-вот придет. Заходите, — любезно пригласила хозяйка.

Первое, что увидела Изабелла, шагнув в прихожую, свой подарок. Натюрморт сиротливо висел в темном углу на пустой стене.

— Проходите в кухню. Извините, у нас ремонт. Присаживайтесь.

Женщина подошла к плите, крутанула поварешкой в кастрюле, прикрутила газ и повернулась к гостье.

— Меня Галина зовут, а вас? Вы откуда?

— Изабелла. Из Дома творчества. Вам муж не оставлял каких-нибудь ключей?

— Нет. А что случилось?

— Ничего страшного. Он замок сменил, когда я на пленэре была, и...

— Где?

— На природе работала. Летние этюды писала.

— Так вы художница?

Галина смотрела открыто, с беззастенчивым детским любопытством.

Изабелла почувствовала, как ее охватывает неприятное чувство вины. Хотя, с чего бы это? Многие мужчины изменяют женам. Случается, и разводятся. Не любовницы должны беречь семьи. Эта тыква — его жена? Вот пусть она и сторожит своего мужика! И вообще... где трещины нет, туда клин не вобьешь.

— Гене очень нравилось работать в Доме творчества, он там даже одну картинку купил. Видели, висит в прихожей?

Разговаривая, Галина суетилась у плиты, что-то помешивая, подсыпая, подрезая.

— Художник Бувеч нарисовал. Вы его знаете?

— Да.

Изабелла словно плохой сон смотрела.

— Гена как сказал, сколько заплатил за такую махонькую картинку, так мне с сердцем плохо стало. Представляете, ремонт, мебель нужна, а он что покупает?.. Неужели этот ваш Бувеч взаправду такой выдающийся?

Ошеломленная Изабелла пожала плечами:

— Все говорят — талант. А вам этот натюрморт нравится?

— Ой, даже и не знаю... Я не люблю лягушачий цвет. И Гена не любит. Но он сказал, что другие картинки Бувевича еще дороже... А как вы думаете, если картинку обратно отдать, Бувевич вернет деньги? Мы ведь имеем право отказаться?..

— Еще как вернет! — уверенно заявила Изабелла. — Хотите, я передам ему работу? Деньги Геннадий Васильевич заберет, когда принесет мне ключи. Пусть только поторопится, а то мои вещи в комендантской свалены.

— Ой, вот же спасибо! А ваша фамилия как будет?

Изабелла замялась.

— Э-э-э... Львова моя фамилия. Не слышали?

— Нет, извините. Я только две недели назад приехала... Что-то Гена долго не идет. Давно должен быть дома...

— А где он?

— Так на работе. На стройке. Третий день как устроился. Очень не хотел уходить от художников. Конечно, работка непильная, но зарплата... Слезы! А тут такое место хорошее подвернулось. Насилу заставила уволиться.

— Может, не стоило заставлять? Пусть бы работал, где нравится.

— Я лучше знаю, что лучше, — решительно махнула Галина свободной от поварешки рукой. — У нас дети, внуки, ремонт, мебель нужна, а он будет за копейки шалаяй-валяй разводить! Нет уж! Коли ты глава семьи, изволь думать о семье, а не о своем «нравится не нравится». У вас есть семья?

Вспомнив маму, властную, как муж-диктатор, и капризную, как несмышленный ребенок, Изабелла твердо ответила:

— Есть.

И добавила, поднимаясь с табуретки:

— Я вас попрошу, пусть Геннадий Васильевич сегодня же принесет мне ключи. Хорошо?

— Обязательно принесет, можете не сомневаться.

Изабелла не сомневалась. Было очевидно: эти маленькие ручки крепко держат вожжи семейной упряжки, и никакие силы никогда не собьют ее с верного пути.

Принимая от Галины зеленый натюрморт, завернутый в бесплатную рекламную газету, Изабелла изо всех сил старалась скрыть охватившие ее стыд и негодование.

— До свидания.

— Всего доброго.

На улице Изабелла первым делом стянула с пальца и зажала в кулаке кольцо с бриллиантом.

Геннадий Горин стоял у входа в Дом творчества. Он издали увидел Изабеллу и бросился ей навстречу.

— Белла, прости, я каждый день здесь... А сегодня собрание бригадиров... Я хотел... Я не смог... Прости.

— Ключи давай, — стараясь не смотреть ему в глаза, потребовала Изабелла.

Геннадий протянул связку новеньких ключей. Она взяла неловко, прижимая локтем холст.

Он потянулся к картине:

— Давай, помогу.

— Ни в коем случае! Тебя дома заждались. Вот, возьми.

Изабелла протянула сжатый кулак. Геннадий машинально подставил ладонь, и колечко легло в нее, ехидно подмигнув драгоценным глазком.

— Подари жене и больше не траться на бездарного Бувевича.

— Белла, послушай...

— Гена, иди в жопу, — ласково попросила Изабелла и пошла прочь, высоко скинув голову, чтобы не вылились внезапно вскипевшие слезы.

И вдруг увидела, как серые клочья туч раздвинулись, открывая в просвете яростную синеву, и оттуда, из небесной полынни, вдруг вырвался солнечный свет, вызолотил побуревшие листья старого клена, засверкал в лужах... «Божественно! — подумала она. — Надо попытаться это написать». Чуть помедлила, любуясь исчезающими красками, и потянула тяжелую входную дверь...

ДЕД РАДИО

I

Лейтенанта Петрова привезли на рассвете.

Дежурный врач госпиталя срочно вызвал профессора Ридигера.

Хмурый, как то холодное раннее утро, профессор осмотрел лейтенанта, бросил:

— В операционную. Быстро!

Санитар толкал по коридору «тачанку» — больничную каталку с распластанным на ней Петровым. Рядом, переговариваясь, шли две медсестры: одна поддерживала штатив с капельницей, другая прижимала к груди тощую пока еще «Историю болезни».

— Совсем молоденький! Ожоги заживут, а вот глаза... Жалко парня...

— Тише, ты! Услышит.

— Не, он без сознания.

Но лейтенант все слышал. Словно издалека долетали до него отдельные слова, быстрые шаги, еще какие-то звуки, они не складывались в картины, не оформлялись в мысли. Боль голодным зверем грызла тело, мучила сознание, хотелось провалиться в небытие, чтобы от нее избавиться. И Петров провалился.

Очнулся во мраке.

Укрошенный лекарствами зверь притих. На дне сознания оживилась память: выпуск в военном училище, направление в отдаленный уральский гарнизон... ночь, проверка караула... вкрадчивые струйки дыма из щелястой стены... падает замок, сбитый большим красным огнетушителем... взрыв... Тьма.

Женский голос:

— Неужели ослепнет?.. Как жаль...

Хотел шевельнуться и не почувствовал своего тела. Хотел позвать на помощь, получился только стон.

Шаги — грузные, уверенный мужской голос:

— Что, герой, очнулся? Как тебя зовут, помнишь?

Подчиняясь командным нотам, Петров напрягся, прошептал тихо:

— Янт... етов...

— Отлично!

Бас еще что-то гудел, но утомленный лейтенант уже крепко спал.

Временами Петров ненадолго выныривал в зыбкую реальность, где царили рвущая тело боль и непрерывная тьма, и снова тонул в беспамятстве...

Но однажды окружающая действительность все-таки обрела устойчивость. Тело слушалось — можно было согнуть ноги, почувствовать повязки на руках, на голове. Сквозь наркотический дурман обезболивающих уже не скалил острые зубы злобный хищник. Только чернота перед глазами по-прежнему пугала.

«Вот так живут слепые, — думал Петров. — Всегда темно...»

Он ни о чем не спрашивал — боялся услышать приговор. Лежал молча, ощущая течение дней по смене звуков и запахов.

Рано утром его будили звон ведра и вонь хлорки — приходила санитарка мыть палату. После завтрака — обход: шаги, голоса врачей, пациентов; перестук колес «тачанки» — санитары увозили на процедуры лежачих больных. Перевязки: аромат женского парфюма, едва уловимый сквозь густой лекарственный дух, ласковый голос медсестры, отдирающей присохшие бинты: «Потерпи, миленький, потерпи, сейчас закончу...» Немыслимо болезненные манипуляции с обгоревшей плотью заканчивались к обеду, и Петрову казалось, что его мучения пахнут щами и котлетами.

Вечером, когда отделение затихало и в палату из окна робко просачивались летние запахи зелени, цветов, дождя и влажной прохлады, в душу бесшумной змеюкой вползала тоска. Укол снотворного прогонял гадину вместе с тягостными мыслями о бессмысленности жизни, и лейтенант проваливался во тьму сна, чтобы через несколько часов вынырнуть во тьму утра...

Но однажды знакомый властный бас профессора-офтальмолога Оскара Генриховича Ридигера нарушил привычный алгоритм. Обычно профессор торопливо входил в палату, выслушивал рапорт лечащего врача и, не дожидаясь ответа на брошенный Петрову вопрос: «Как дела, герой?», уносился, ступая тяжело, так что вздрагивали половицы. И вдруг — не убежал, присел на край постели, положил тяжелую шершавую ладонь Егору на руку:

— Ну что, герой, ожоги тебе подлечили, теперь вплотную займемся глазами.

От неожиданности лейтенант растерялся и тут же испугался: сейчас светило опять стремительно исчезнет, а он так и не решился спросить... Егор напрягся, вдохнул и решительно выпалил:

— Я буду видеть?

Получилось излишне громко и запальчиво.

— О! — отчего-то вдруг развеселился профессор. — Я думал, ты только шептать умеешь. Мы постараемся, но и ты должен постараться. Никаких нарушений режима, никакого уныния, и победа будет за нами, герой.

Петров не поверил нарочитой уверенности Ридигера и про себя решил: жить в вечной тьме не будет. Незачем.

...Двое санитаров осторожно переложили Петрова с каталки на кровать.

— Принимайте соседа, — весело сказал один.

— Всегда рад, — отозвался немолодой, но бодрый мужской голос.

«Тачанка» простучала колесами, хлопнула дверь.

Переезд дался лейтенанту непросто. В голове работала кувалда наперегонки с отбойным молотом, в руках методично пульсировала притихшая было боль. Петров завозился, застонал и скрипнул зубами.

— Что, плохо? — спросил сосед сочувственно. — Растрясли, видать, по дороге. Сейчас позову сестру.

После укола, когда злые молотобойцы утомились, дед — так по голосу определил своего соседа Петров — снова заговорил:

— Ну, давай знакомиться. Тебя как звать?

— Лейтенант Петров, — привычно отрапортовал Петров и замолчал, показывая, что к беседе не расположен.

Только дед эту демонстрацию оставил без внимания.

— Это, так сказать, звание и фамилия. А имя-то у тебя есть? Мы ведь здесь не при исполнении, можно запросто...

— Егор.

— А по отчеству?

— Сергеевич.

— Надо же! А я Сергей Сергеевич. Выходит, тезка твоему отцу! — неизвестно чему обрадовался сосед. — Может, еще и земляк? Где родители-то живут?

— Нигде.

— Как это нигде?

— Так и нигде. Я детдомовский.

Егор отвечал кратко и жестко, чтобы сосед прекратил расспросы, но тот, наоборот, еще больше оживился:

— Надо же, и я в детдоме вырос! В Алапаевске. Знаешь такой город?

— Нет.

— А сам откуда?

...Выспросив у Егора всю его небогатую биографию, Сергей Сергеевич начал повествование о своей жизни: родился в Смоленске, осиротел мальчишкой в самом начале войны — авиабомба попала в здание железнодорожного депо, где работали оба его родителя...

На подробном изложении эвакуации смоленских сирот на Урал деда прервали: пришел санитар с ужином. Весь перебинтованный, Петров сосал через трубочку жидкую пищу и размышлял: притвориться ему после еды спящим или все же послушать деда. Общительный сосед мешал лейтенанту сосредоточиться на личном горе, однако рассказывал увлекательно. Не додумав мысль до конца, лейтенант нечаянно заснул.

Утром Егор проснулся оттого, что в палате кто-то тихо пел приятным баритоном. Пение Петрову понравилось, но когда он понял, что поет сосед, почему-то расстроился. «Не дед, а радио: то болтовня, то музыка», — раздраженно подумал лейтенант...

— Утро доброе! — этими словами Сергей Сергеевич начинал каждый день. Егор вначале бурчал в ответ что-то недовольное, вроде «кому как», а потом стал отмалчиваться.

За «утром добрым» шла сводка погоды.

— Отличный сегодня денек! — восклицал дед, независимо от того, какое следовало продолжение: солнце, дождь, туман...

Сводка излагалась подробно, с описанием цвета неба и формы облаков, с прогнозом на завтра, основанным на народных приметах, вроде высоты полета ласточек.

Как понял Петров, кровать соседа стояла у окна, из которого был виден госпитальный парк. Дед так детально его описал, что Егору казалось, будто он тоже видит старую липовую аллею и девушек-медсестер, спешащих на работу. Чаше других Сергей Сергеевич отмечал блондинку с длинными волосами и мечтал:

— Вот, Егор Сергеевич, как только Ридигер тебе глаза наладит, пройдемся мы с тобой по этажам и найдем эту красавицу. Мне одному как-то неудобно — я ведь старший, напугаю девочку...

Затем он, медленно шаркая, ушел в столовую на завтрак. Возвратясь, дед передавал сенсационные новости. Каждый день в отделении прозревал какой-нибудь безнадежный пациент. Волшебник Ридигер, по словам Сергея Сергеевича, не мог вылечить только покойника.

«Новостной выпуск» прерывали санитары — увозили Петрова на перевязку. Возвращался лейтенант настолько измученным, что будь у него оружие, застрелился бы. Сосредоточиться на страданиях не давал дед Радио: он знал множество старых песен и неутомимо пел их голосом слабым, но верным.

В тех песнях жили девушки с косами душистыми и густыми, их пальцы пахли ладаном, а в больших глазах таилась печаль; в тех песнях шли в бой за Родину героические мужчины, скакали вороные кони, а смуглянка-молдаванка собирала виноград; в тех песнях было много трогательной любви и нежности... Боль утихала, Егор успокаивался и засыпал.

Вечером наступало время воспоминаний. Детдомовское детство Сергея Сергеевича, учеба в военном училище — это Егору было понятно и близко, он и сам мог немало порассказать про то, как закаляется сиротская сталь, но, погруженный в личные переживания, молчал. И не замечал, что никогда дед Радио не говорит о двух вещах: о своей болезни и о своей семье.

Однажды Петров поделился с соседом тайной мыслью: лучше умереть, чем жить слепым. Дед крикнул и сурово выговорил:

— Раньше смерти панихиду не заказывают. Ты еще не долечился, а уже на тот свет собрался. Мы, детдомовские, не такие, нас из седла выбить — постараться надо. Тебе ли этого не знать, Егорушка?! Ридигер в тебя верит, я верю, а ты... Выходит, подводишь ты нас, товарищ лейтенант!..

Низкорослый худой Петров не имел большого успеха у девушек, зато друзья его уважали. Молчаливый, но ответственный, надежный Егор с детства у пацанов был в авторитете. Упрек деда сильно его озадачил...

В день операции с утра выпал первый снег, о чем радостно доложил дед Радио: — Хорошая примета! К удаче!

Волнения Петров не чувствовал, скорее какое-то радостное возбуждение...

Из операционной лейтенанта увезли в реанимацию: все прошло успешно, но Ридигер, опасаясь внезапных осложнений, приказал оставить пациента под круглосуточным наблюдением. В палату Егора вернули лишь через двое суток.

Сергея Сергеевича не было слышно. Наверное, ушел на обед, подумал Егор, потрогал повязку на глазах и улыбнулся: будет чем похвастать, профессор твердо пообещал: если не лениться соблюдать все рекомендации, зрение восстановится.

Открылась дверь, но вместо шаркающих старческих шагов раздались легкие женские. По звукам Петров понял: кто-то перестилает дедову койку у окна.

— А где Сергей Сергеевич?

— Так выписали вчера, домой поехал, — ответил голос сестры-хозяйки. — Он тебе вот тут, на тумбочке, записку оставил с адресом. Повязку снимут — увидишь.

— А можно мне на его место к окну перелечь? Буду потом на парк смотреть...

— Так ведь парк у нас с другой стороны, а тут окно на хоздвор выходит. Кирпич да асфальт, парка отсюда не видно.

— Как не видно? А дед говорил, что видит...

— Кто видит? Сергеич? Так ведь он слепой совсем! Он же вообще ничего не видит! Лечат его, лечат — каждый год как инвалида-афганца сюда на реабилитацию кладут — все без толку!

— Слепой? Совсем? Выходит, он мне врал?!..

Ошеломленный Егор сжал кулаки.

— Про липовую аллею, про девушек... Беленькая, говорил... Врал...

— Почему врал? Аллея липовая у нас есть, и сестрички в отделениях всякие есть, и беленькие, и черненькие... Скоро сам увидишь.

Женщина поправила Егору одеяло и вышла.

Лейтенант Петров проглотил ком в горле.

Он долго лежал неподвижно. Потом сел, нащупал на тумбочке бумажку с адресом и переложил в ящик — чтобы не потерялась.

В коридоре слышались шаги профессора Ридигера и его свиты. Егор поспешно вытянулся на койке — вставать ему пока еще не разрешали.

... Парк был в точности таким, каким его описывал дед Радио: от центрального входа вдаль уходила асфальтированная дорожка, вдоль нее с двух сторон караулом стояли вековые липы. По дорожке шла высокая тоненькая девушка, из-под полы короткой шубки виднелся белый халат. Светловолосая она или нет, Егор не мог определить: зима, на девушке большая шапка из серого меха. «Медсестра или врач», — подумал Петров, жадно охватывая взглядом синее в пухлых облаках небо, заснеженные деревья и женскую фигуру. Сквозь темные очки все вокруг выглядело неярким и слегка расплывчатым. От чистого морозного воздуха, от радости, что он может видеть и это небо, и этот парк, и девушку в лохматой шапке, у Егора кружилась голова.

Она подошла, улыбнулась, сказала: «Добрый день. Вы из глазного? Не стойте долго, простудитесь, это опасно» — и вошла в дверь.

Лейтенант улыбнулся в ответ, с трудом раздвигая стянутые ожоговыми рубцами губы. Нет, простывать ему никак нельзя, его к выписке готовят. На днях получит положенные бумаги, выплаты, и можно отбыть. Куда? Вначале к деду Радио в гости. В каждом письме Сергей Сергеевич расписывает, какой у него просторный дом в тихом уральском поселке и как он будет рад принять в этом доме Егора словно сына. Потом — в реабилитационный центр, а после... После медкомиссия, которая решит, быть лейтенанту Петрову дальше офицером-артиллеристом или искать работу на гражданке...

II

На станцию поезд прибыл под вечер. Петров сошел на платформу в сильнейшем раздражении.

Всю дорогу он отворачивался от назойливых взглядов. Почему люди считают, что ему нужна их сопливая жалость? Он живет, он видит, он счастлив! Но желающих разделить с ним счастье не нашлось. Даже проводница, выдавшая виды пожилая тетка, не смогла скрыть ужас при виде страшных шрамов на лице и руках лейтенанта.

И таксист всю дорогу искоса поглядывал на пассажира. Петров остро ощущал его невысказанное любопытство и едва сдерживался, чтобы не нахамить. Так и подмывало рывкнуть: «Ну чего пялишься? Да, я Фредди Крюгер из фильма ужасов! Сейчас загрызу!» Но он лишь стиснул зубы, молча рассчитался, достал из багажника чемодан и шагнул к дому. Постучать не успел, калитка распахнулась, знакомый бодрый голос спросил:

— Кто тут? Егор? Входи, входи, скорее! Ах ты радость какая! А я слышу: машина подъехала. Сразу догадался! Недавно поезд прошумел, а потом — машина. Не иначе, думаю, сынок приехал...

Егор шагнул в раскрытые объятия. Они дружески помяли друг друга, похлопали по спинам, и пальцы Сергея Сергеевича легко побежали по лицу Егора:

— Дай-ка я тебя рассмотрю, у меня глаза-то в руках. А твои как? Видят?

— Да.

— Это хорошо. А шрамы? Вишь ты, рубцы какие жесткие... Что врачи говорят? Егор скрипнул зубами.

— Говорят: радуйся, что жив остался.

— Это верно! Главное — ты живой и с глазами!..

Не таким представлял себе деда Радио лейтенант Петров. И не ветхий дед он вовсе. Высокий, крепкий, с военной выправкой, голубые глаза смотрят твердо, во враз и догадаешься, что они слепы. А шаркающие шаги — от осторожной походки. Здесь, в своем дворе, Сергей Сергеевич ступает уверенней.

— Профессор у нас волшебник. Я ж тебе говорил. Со мной вот, правда, не справился. Потому что у меня не в глазах повреждение, а в голове нерв какой-то умер. А я ему говорю: «Мозги у меня в норме и с нервами полный порядок, а что видеть не буду, так и ладно. Я в жизни столько всякого повидал, что ничего нового все равно уже не увижу...»

Егор только счастливо улыбался в ответ на знакомый говорок.

В сенях пахло сушеными травами и пирогами. Сергей Сергеевич открыл оббитую дерматином дверь.

— Входи, сынок, входи... Осторожно, тут у нас ступенька! Маша, Маша, ты где? Егор приехал!..

Увидев в ярко освещенной комнате накрытый стол, Егор растерялся: его, оказывается, ждали. С чемоданом в руке он остановился на пороге, не решаясь шагнуть в приветливый уют чужого дома.

— Я ненадолго. У меня направление...

— Не спеши, поживи у меня. Не понравится — поедешь куда глаза глядят! Они у тебя глядят, это главное...

— Да. Но лицо такое... и руки... От меня люди шарахаются.

— Ну, с лица воду не пить... Маша! Ты куда пропала? Егор с дороги, есть хочет!

— Да нет, я ничего, — проямлил Петров, хотя действительно был голоден. В вагоне он старался не спускаться лишний раз с верхней полки, чтобы не нарваться на любопытно-жалостливые взгляды попутчиков, жевал что-то наспех всухомятку и сейчас с удовольствием втягивал носом ароматы домашней еды.

— Давай вещи отнесем в твою комнату.

Сергей Сергеевич нащупал ручку чемодана, поднял его и уверенно шагнул обратно в сени.

— Раньше здесь кладовая была, мы ее к твоему приезду утеплили. Вход отдельный, никто тебе не помешает, и ты свободней себя чувствовать будешь... Маша!

Где-то звякнуло ведро.

Петров расчувствовался едва не до слез. Его действительно ждали как сына. Стол накрыли, комнату приготовили... Никогда у Егора не было собственного угла. В детдоме — спальня на шесть пацанов, потом училище — тридцать курсантов в одной казарме, потом офицерская общага — четыре койки по углам...

— Спасибо.

Егор оглядел свою комнатку. Старомодная кровать, небольшой столик, стул, домотканый половик под ногами...

— Спасибо, Сергей Сергеевич, — растроганно повторил он, не зная, что еще добавить.

— Давай за стол. Маша, видно, с коровой управляется, подойдет. Накладывай, не стесняйся!

«Кто такая эта Маша? — думал Егор, цепляя вилкой большой кусок вареного мяса. — Дед Радио ничего не писал о ней. Жена, наверное, или дочь. Хорошо бы жена — будут у меня дедушка и бабушка...»

Уплетая за обе щеки простую деревенскую еду, Егор не услышал, как за его спиной открылась дверь.

— Вот, — встрепенулся дед Радио, — наконец-то пришла. Знакомься, Егор, это Маша.

Высокая полная молодая женщина стояла в дверях, теребя кончик длинной, до пояса, толстой косы. Круглое гладкое лицо, взгляд исподлобья... Мягко, неслышно она шагнула к столу, молча села, посмотрела на Егора и улыбнулась.

Он ждал, что вот-вот сейчас в этих больших прозрачно-голубых глазах отразятся любопытство и жалость или усилие вежливо скрыть эти самые ненавидимые Егору любопытство и жалость. Но Маша смотрела спокойно и как будто не видела ни изуродованного лица, ни рук, словно обтянутых вместо кожи мятой бумагой серо-розового цвета. Она опять улыбнулась приветливо, но в то же время и равнодушно, опустила глаза, медленно взяла вилку...

«Ничего себе бабушка. Неужели дочка? Почему дед никогда не рассказывал о ней, не писал? Красивая, но какая-то странная», — подумал Егор и отчего-то смутился так, что перестал ощущать вкус пищи.

— Вот, Егорушка, — продолжал сыпать словами дед Радио, — Машенька — мой самый близкий человек и самая надежная опора. Она в этом доме хозяйка. Если что, обращайся к ней, не стесняйся. Она слова лишнего не скажет, но все сделает, как надо... Ты как? Примешь чуток? У нас своя наливка. Маша-то не пьет, а нам с тобой можно по пять капель за приезд.

Женщина взяла графин и наполнила густым красным вином две большие граненые рюмки. Одну ловко подала прямо в руку Сергею Сергеевичу, другую поставила перед Егором.

— За тебя, сынок! — поднял свою дед Радио.

Профессор рекомендовал избегать алкоголя, но Петров постеснялся отказаться.

— А я — за вас! Вы меня... Вы мне... — он хотел сказать, как благодарен Сергею Сергеевичу, но нашел подходящих слов, сбился и молча выпил.

Маша смотрела на Егора, по-женски подперев ладонью круглый подбородок, чуть улыбаясь, и, казалось, видела нечто, другим не видимое...

То ли от вина, то ли от спокойной семейной обстановки, напряжение отпустило лейтенанта, и он начал погружаться в приятное расслабленное состояние. Непривычный к заботе и вниманию, Егор вначале сопротивлялся погружению, но скоро сдался и сидел, полубодствуя, полуспя, слушая и не слушая деда Радио, который обстоятельно рассказывал о своем хозяйстве, о том, какая отличная летом на пруду рыбалка и по какому рецепту на Урале солят грибы...

Маша снова наполнила рюмки, принесла из кухни сладкий пирог, чашки, чайник, собрала пустую посуду и куда-то тихо исчезла. Егор дожевывал кусок пирога в дремотном состоянии, из которого его выдернула внезапно наступившая тишина. Дед Радио молчал, и это было так необычно, что Егор встрепенулся и сонно уставился на Сергея Сергеевича. Тот, напряженно выпрямившись, прислушивался к чему-то.

— Что такое? — тоже насторожился Петров.

— Маша ушла?

— Да. Ее давно здесь нет.

— Я тебе что хочу сказать, Егор... Чтобы ты знал... Эта девочка... Она, как и мы с тобой, круглая сирота, да еще и не от мира сего. То есть она нормальная, все понимает, но не такая как все — чересчур добрая, ее обмануть любой может на раз. Маше скоро тридцать исполнится, а она как дите малое — совсем к самостоятельной жизни не годится! Такое у нее в голове состояние, что она не взрослеет... Я для нее и отец, и мать, и старший брат, хотя по документам вроде как муж...

Отупевший от сытости и усталости Егор с трудом понемал, о чем толкует дед.

— Но это только по документам... На самом деле после контузии муж из меня никакой... Мне ведь всего полтинник стукнул, когда в Афгане мы в засаду попали. Пока я по госпиталям валялся, жена на развод подала — не справлюсь, сказала... Я не осуждаю, да и некого осуждать — она давно на том свете. Дочка уже тогда замужем была, своих проблем хватало. Мужик ее, дети — все в нашей квартире жили. Не выгонять же. И собой обременять тоже вроде как некстати... Через год поставили меня врачи на ноги, даже чуток видел поначалу, различал свет и тень, контуры какие-никакие. Комиссовали, конечно... Хреново было, ничего не скажешь, но мне, кроме как на себя, надеяться не на кого. Я по жизни все — сам... Выписался и вот сюда приехал, потому что здесь в те годы работало предприятие для незрячих и слабовидящих; трансформаторы собирали, проволоку на катушки наматывали. Получил работу, комнату в общежитии... Жил среди таких же, как я, людей нормальным человеком. На пенсию вышел, все было хорошо, а потом началось...

Дед замолчал, нашарил тарелку с колбасой и бросил кусок в рот.

— Да-а-а... — неопределенно протянул Егор. — А что началось?

— Так перестройка эта гребаная! Фабрику закрыли, общежитие продали. Мне предложили в инвалидный интернат перебраться. И оказался бы я в том интернате среди алкашей и психов, если бы не Машина мать. Она меня к себе постояльцем взяла, сдала за копейки комнату вот в этом самом доме. Поддержала в те лихие годочки, спасибо ей. В позапрошлом году она умерла, а перед смертью взяла с меня слово, что Машу не брошу. Я привык на добро отвечать добром... Опекунство мне не дали, сказали, стар слишком, слепой к тому же, пришлось нам расписаться. Понимаешь?

— Понимаю, — кивнул Петров.

Чего ж тут неясного? Хороший человек дед Радио, добрый, порядочный. Сам слепой, его жена чуток не в себе, ну и что? Зато у него рассудок в порядке, у нее — глаза. В сумме норма получается. Да и кому какое дело, с кем и как живет Сергей Сергеевич? В ушах у Егора гудело, глаза слипались и снизу поджимало — пожалуй, пора уже было найти туалет...

— Мне в сортир надо.

— Конечно, сынок, конечно! Это в ту дверь, где выход в хлев. Ступай, там свет горит...

— И ничего-то ты не понял, — покачал головой дед, когда за Егором закрылась дверь.

Из туалета Петров вышел во двор, постоял, глядя на звезды, глубоко вдохнул морозный воздух, собираясь с мыслями. Мысли собираться не желали, голова кружилась. Он несколько раз присел, помахал руками, приводя себя в чувство.

Сзади неслышно подошла Маша, встала близко-близко, так, что Егор ощутил тепло ее тела, и тихо выдохнула:

— Егорушка приехал. Мы так ждали.

Он резко обернулся. Рослая Маша оказалась почти на голову выше щуплого лейтенанта, но чудилось, будто смотрит снизу вверх — столько было в ее взгляде покорной ласки. Она легко, едва касаясь, погладила Егора по щеке, по волосам, по плечу, и это было приятно... Потом положила другую руку ему на затылок и притянула к себе. Сам не понимая, что делает, Егор обхватил девушку за талию и крепче прижался к ее мягкому телу, уткнув лицо в горячую ложбинку между грудей. От Маши пахло молоком, травами и еще чем-то домашним — то ли свежим хлебом, то ли выглаженным бельем. Память о матери вдруг проснулась в нем, обожгла дикой тоской...

Ему только пять лет исполнилось, когда она умерла. Сердце у нее было слабое, но рискнула — родила без мужа «для себя», вырастить вот только не успела... Но он помнит, помнит и этот запах, и большие теплые руки... Сиротская память давила изнутри, заставляя с силой вжиматься в ласковую женскую плоть. И он вжимался, бормоча невнятно «мама, мамочка!», и вдруг заплакал облегченно, словно лопнул глубоко в душе давний нарыв, и сразу ушла боль, и стало легче дышать...

— Пойдем, пойдем, — не отпуская рыдающего Егора, Маша повела его вверх по ступенькам на крыльцо и через сени в комнатку с отдельным входом.

— Миленький мой, хороший, не плачь, не плачь...

Откинув одеяло, она уложила Петрова, сноровисто сняла с него обувь. Затихая, Егор почувствовал, как Маша легла рядом, привалилась мягкой грудью, начала гладить по спине, прижимаясь, бормоча что-то невнятное и жарко дыша в ухо. Вначале он не сопротивлялся Машиной ласке, но дыхание ее становилось все горячее, объятия все настойчивее, и уже не было в них смутно-памятной материнской нежности.

Необъяснимый ужас вдруг охватил лейтенанта.

— Нет! — заорал он, отталкивая от себя знойную тяжесть Машиного тела. — А-а-а-а!

Но она не отпускала и шептала, шептала, задыхаясь:

— Миленький, хорошенький...

Внезапно распахнулась дверь, голос Сергея Сергеевича прозвучал спокойно и властно:

— Маша, иди к себе. Егор устал, он хочет спать.

Девушка послушно встала и вышла, грузно ступая. Егор, тяжело дыша, сел на постели. Дед Радио нащупал его плечо, опустился рядом, попросил тихо:

— Не сердись, сынок. Я же тебе объяснил: Маша телом созрела, а в голове совсем дите, не понимает, чего творит. Но больше она тебя не потревожит, обещаю. Они помолчали.

— Мне уже семьдесят, здоровьишко аховое, я лет пять протяну, не больше, — медленно, словно нехотя, ронял слова Сергей Сергеевич. — Кто ей поможет? А если тебя комиссуют, с такими-то травмами? Куда поедешь? Этой стране старики, инвалиды да сироты, абсолютно не нужны. Даже герои... Девки нынешние тоже... Им красавчика с деньгами подавай. А Маша — она ведь чистая душа, добрая... Ты не спешి решать, Егорушка. Ты сейчас спать ложись. Утро вечера мудренее. Завтра договорим.

Дед поднялся, добавил:

— Тут вот крючок есть, накинь, чтобы не думалось.

И вышел из комнатки, глядя перед собой невидящими глазами. Егор со стоном рванул ворот гимнастерки, словно сдернул с горла затянутую петлю, со всей силы ударил кулаком по столу и зашипел от боли, потирая ушибленную кисть...

Сергей Сергеевич сидел в темной комнате за столом и бездумно вертел в пальцах пустую рюмку. В ночной тишине он услышал, как хлопнула дверь, звякнул засов калитки.

— Вот так, Маша, — тихо сказал дед. — Ушел наш Егорушка. Ты думаешь, он испугался? Или обиделся? Нет, Маша. Чего тебя бояться? Ты добрая, просто глупенькая. Нет, он не испугался. И обижаться ему не на что. Что ж такого мы ему сделали? Дом предложили, семью... На что тут обижаться? Не расстраивайся, Маша, и не вини себя. Он обязательно вернется.

Говорил Сергей Сергеевич тихо, монотонно, словно бормотало в темноте невидимое радио.

— Понимаешь, он думает: он гордый, а мы ему чего-то навязываем. Я такой же был... Только ведь гордость и гордыня — это, Маша, не одно и то же. Иной раз и смириться приходится, чтобы гордость свою сохранить... Пообобьет ему жизнь острые углы, поймет он, что к чему, прощать научится и вернется. Ведь у него, кроме нас с тобой, никого нет. И у нас, кроме Егорки, тоже никого... Не расстраивайся, Маша, ты ни в чем не виновата...

Маша не слышала его бормотанья. Она спокойно спала, раскинув на постели кустодиевской щедрости тело, рассыпав по подушке длинные гладкие волосы, улыбаясь во сне загадочной безмятежной улыбкой.

Внезапно повалил снег. Такой густой, что казалось, он не падает сверху вниз, а висит плотным душным покрывалом от неба до земли. За белой пеленой Егор плохо видел дорогу, ориентировался по звуку проходящих поездов и отдаленному механическому голосу громкой диспетчерской связи.

«Добрые какие! Пожалели, приняли инвалида в компанию! — яростно шептал лейтенант Петров, впечатывая шаги в едва заметную тропку. — Это моя жизнь! Моя! Я сам все решу!...»

«Сам... Сам... Сам...» — хрустел под ногами молодой снег.

Вдали громко загудел локомотив, подсказывая направление к станции.

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ БЕРЕГ

В лучах яркого солнца порт Савона казался праздничным. Дивный белый лайнер выглядел в точности, как на рекламе, и на душе у Аллы Витальевны посветлело...

Нанятый в аэропорту Милана таксист за немалую дополнительную плату согласился проводить ее до судна. Но посадка на «Costa Deliziosa» еще не началась, и услужливый итальянец в нетерпении топтался возле двух огромных чемоданов, поглядывая на часы.

Дорога не слишком утомила Аллу Витальевну, хотя ночью в номере «Метрополя» удалось вздремнуть лишь пару часов. Но это ерунда, бессонница давно стала ее близкой подругой. Поначалу Алла Витальевна впадала в панику от долгих ночных бдений, но потом научилась безропотно принимать навязчивую гостью и даже получать удовольствие от ее визитов. Другого выхода не было — приходилось тщательно скрывать тот факт, что выпрошенное у доктора снотворное не используется по назначению. Зато сколько за минувший год было прочитано книг в тишине спящего дома! Сколько просмотрено прекрасных фильмов (но так и не найден ответ на вопрос: почему хорошие картины телевидение показывает исключительно после полуночи?). А долгие ночные размышления... Да если бы Алла глотала эти таблетки и крепко спала, разве смогла бы она принять такое простое решение? Никогда в жизни!

Алла Витальевна с удовольствием вдохнула влажный морской воздух, поправила шляпку и открыла новенькую фирменную сумочку. Рядом с дорогим ваучером на круиз лежал дешевый мобильник — словно пришелец из прошлой жизни. Почему она не выбросила его в Москве? Долго думала: надо ли звонить дочери. Так и не позвонила. Что сказать? Все написано в завещании, запертом в банковской ячейке. Там же деньги — Катина доля. Ключ, пароль и подробные разъяснения с нижайшими извинениями едут почтой на адрес доктора; более надежного человека в мире нет...

Все, не о чем говорить. Алла Витальевна вынула телефон, широко замахнулась, намереваясь отправить его прямоком в воды Генуэзской бухты, как вдруг аппарат зазвонил. Черная пластмассовая коробочка вибрировала и гудела на ладони, настойчиво требуя внимания. Алла Витальевна нерешительно ткнула в зеленый значок приема.

— Да.

— Мама, здравствуй, ты где? Звоню, звоню тебе домой, а какой-то мужик говорит, что ты здесь... то есть там уже не живешь. Дал этот номер. Что за идиот? Ты пустила квартирантов?..

Вот в этом вся ее дочь: тараторит напористо, уверенно, словно не было ни унижительной попытки запереть мать в психушке, ни больше года глухого молчания...

— Катя, послушай...

— Нет, это ты послушай! Придется твоим квартирантам съехать. Вадик завтра приедет.

— Вадик? Зачем?

— Как зачем? Жить. И работать. Ему в Москве обещают работу.

— Но я... у меня...

— Мама, не возражай. Забудь свои никчемные обиды. Это твой единственный внук! Да, мальчик оступися, но ты прекрасно знаешь, это дружки подбили его. Он отсидел по чужой вине...

— Катя, извини, я сейчас в Италии, ты разоришься на звонке.

— Что? Как ты туда попала? Зачем?

— Самолетом попала. Уплываю в кругосветное путешествие.

Ошеломленная пауза. И шепот:

— Откуда у тебя такие деньги?

— Я продала квартиру.

— Мама, ты чокнулась? А где Вадик будет жить?

— А где буду жить я, тебя не интересует? — по-детски жалобно спросила Алла Витальевна и сама смутилась: Катя не участвовала в принятии судьбоносного решения, чего с нее спрашивать.

Год назад, после грандиозного скандала они договорились не вмешиваться в жизнь друг друга. И дочь старательно избегала общения с матерью. Не позвонила даже, когда в годовщину смерти отца приехала на его могилку...

Муж Аллы Витальевны не пережил уголовного суда над любимым внуком Вадимом. Обширный инфаркт разорвал ему сердце за считанные минуты. «Скорая» констатировала смерть и увезла Аллу Витальевну в сильнейшей истерике.

Почти полвека Алла знала, зачем просыпается утром, для кого готовит, прибирает, стирает. Знала, на чье плечо можно положить голову, к чьей груди прижаться. Работа — это так, чтобы без пенсии не остаться, главное в жизни семья. Муж был тихим, покладистым (непонятно, в кого Катя выросла такой строптивой), казался незаметным, а оказался незаменимым.

В образовавшуюся пустоту хлынул нестерпимый холод одиночества. От этого холода Алла оцепенела так, что не сразу сообразила, чего хотят от нее родственники. А хотели они, чтобы замороженную горем Аллу признали психически больной и недееспособной. Мысль, ясное дело, исходила от нового супруга Кати — хронического эгоцентриста. Ему очень хотелось отселить куда-нибудь избалованного пасынка. Вадик уезжать из родного дома (на самом деле — от питерских дружков) в Москву отказывался. Там ведь бабушка контролирует, жить учит. Вот если бы столичная квартира опустела...

С этой идеей и пачкой денег (кстати, оставленных в наследство отцом) Катя обратилась к главврачу психиатрической клиники. Старый доктор с внешностью

аристократа и соответствующими манерами денег не взял. Он познакомился с Аллой Витальевной, признал ее вполне нормальной женщиной, которой нужны лишь время и душевное тепло, чтобы прийти в себя, и установил над ней собственную неформальную опеку. Так началось их общение.

Это были не медицинские приемы, а редкие встречи двух пожилых вдовых людей. Несколько раз они погуляли в парке, сходили в театр, но чаще беседовали по телефону. Можно было бы сказать, что между ними установились доверительно-дружеские отношения, если бы не маленький нюанс: Алла врача обманывала. Самым что ни на есть бессовестным образом врала. Можно даже сказать, подставляла под неприятности: сильнодействующее снотворное, которое ей при личных встречах давал доктор, она не принимала, а с далеко идущей целью складывала в коробочку.

К этой цели Аллу Витальевну толкало чувство жгучей обиды на дочь. Катя хочет от нее избавиться? Что ж, Алла сама уйдет. Быстро, безболезненно, а главное — красиво. Не будет расплющенного трупа упавшей с крыши старухи или повешенной с высунутым языком. Алла Витальевна расстанется с этой жизнью элегантно: в лучшем своем наряде, на чистой постели, уснет и не проснется. Собранных за год таблеток хватит наверняка. Вот тогда они все поймут...

Кто поймет и что именно, Алла представляла не совсем четко, но образ утраченного в цветах гроба с рыдающей над ним дочерью почему-то утешал. Хотя и не было уверенности, что Катю действительно охватит глубокое раскаяние. Зато любезному доктору неприятно будет узнать, на что пошло прописанное им лекарство. Вдруг он пострадает из-за Аллы?.. На этих мыслях Алла Витальевна начинала колебаться, но не отказывалась от задуманного. Ах, да что там! Не все ли равно, что будет после? Решение принято, осталось только выбрать подходящий день, точнее ночь, и не струсить в последний момент. Какое время считать подходящим, Алла пока не решила, но была уверена: сразу почувствует, когда оно придет...

Хорошо продуманный план нарушил яркий рекламный буклет. Он выпал из почтового ящика и дохнул в лицо морским бризом. На обложке красавец лайнер горделиво плыл под витиевато выведенными буквами: «С нами Вы побываете в раю!» Слоган показался Алле Витальевне знакомым. Она вспомнила слова заботливого доктора: «Не важно, сколько минут жизни у вас впереди. Важно, какова на вкус та, что здесь и сейчас».

Много ли было в жизни Аллы вкусных мгновений?

Страстной любви она не знала — вышла за первого, кто сделал предложение. Получилось удачно, но... пресно. Дочь родилась так тяжело, что о других детях даже думать не хотелось. Вот и тряслась над единственным ребенком, а в благодарность получила расчетливую подлость...

Всего два по-настоящему счастливых события вспомнила Алла: день, когда муж принес ордер на квартиру, и день, когда она вышла на пенсию. Расставаясь с тесной комнатухой в коммуналке и — через тридцать лет — с душным кабинетом в архиве, она чувствовала себя птицей, вылетающей из клетки на волю.

Вспомнив позабытый вкус свободы, Алла внесла изменения в сценарий своего развода с жизнью. Какая разница, где будут выпиты заветные таблетки? Так ли уж важно, в какой конкретно день она ляжет рядом с мужем на Востряковском кладбище?.. Зато, прежде чем попасть в ад, она побывает в раю.

На срочную продажу квартиры, покупку круиза и сборы ушло всего несколько дней. Оставшиеся до вылета сутки Алла Витальевна провела в дорогом отеле...

Катин голос в мобильнике наполнился паникой.

— Нет, ну ты все-таки сумасшедшая! Ребенок всего месяц как из тюрьмы вышел, его поддержать надо.

— Ребенку под тридцать, пора научиться самому о себе заботиться.

— Дети всегда остаются детьми... Ты что, и правда, в Италии? Перезвони мне немедленно, надо поговорить, и больше не шути так глупо насчет квартиры.

Короткие гудки запищали в ухо. Вихрь противоречивых чувств заметался внутри, растворяя былую решимость... Вдруг лайнер издал короткий низкий гудок. Словно кто-то сильный и уверенный добродушно рявкнул на Аллу Витальевну:

«Не дрейфь, старушка! Тебя ждет каюта «люкс» и место за капитанским столом. Роскошные бассейны и кинотеатры, профессиональные музыканты и повара, вышколенные стюарды и аниматоры — к твоим услугам! Сто шестнадцать дней ты будешь комфортабельно жить и весело проводить время, не подсчитывая расходы и не упрекая себя за расточительство. Ты увидишь Испанию и Бразилию, Аргентину и Уругвай, Австралию и Новую Зеландию, Намибию и Сенегал, Португалию и Францию... Разве не этого ты желала в далеком советском детстве, даже перед самой собой стыдясь легкомысленной буржуазной мечты? Так смелее, я жду! У-у-у-у-у!»

Едва слышный «бульк» был ему ответом. Таксист проводил мобильник взглядом, пожал плечами и подхватил чемоданы пожилой синьоры, одетой дорого, стильно, но с лицом женщины бедной и несчастливой. Ох уж эти загадочные русские...

У трапа Аллу Витальевну встретили улыбающиеся стюарды в белоснежных форменных одеждах. Она протянула документы, еще раз с восхищением оглядела внушительную махину лайнера. И вспомнила, как, изучив рекламный буклет от одной глянцевої корки до другой, позвонила своему любезному доктору узнать, что означает *Costa Deliziosa*. Доктор не удивился, не спросил: с чего она решила, будто он знает итальянский, просто сразу ответил:

— Восхитительный берег. Где вы это услышали?

— Да так... в рекламе, — уклонилась от ответа Алла.

— Как спите? Дать вам еще таблеток?

— Спасибо большое! С таблетками сплю прекрасно, но пока еще не все израсходовала.

— Я очень рад.

Доктор действительно радовался, ведь это был единственный в его практике случай, когда от бессонницы помогала смесь мела с сахаром.

— Тогда давайте встретимся без повода. В парке завтра ярмарка.

Алла от встречи отказалась и вскоре уехала, не прощаясь, туда, где ждал ее белоснежный «Восхитительный Берег», острым носом устремленный в сверкающую синеву моря...

